

Александр Кабанов

Русский индеец

Александр Кабанов

Русский индеец

Москва

«Воймега»

2018

УДК 821.161.1-1 Кабанов
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
К12

А. Кабанов

В26 Русский индеец / Александр Кабанов. – М.: Воймега,
2018. – 84 с.

ISBN 978-5-6040915-2-4

Новую книгу украинского поэта, живущего в Киеве, составили избранные стихи, написанные более чем за двадцать лет – с середины 1990-х до 2018 года.

Книга издана при поддержке Алексея Коровина.

ISBN 978-5-6040915-2-4

© А. Кабанов, текст; 2018
© «Воймега»; 2018

Исход москвичей

Исход москвичей

Вслед за Данте, по кругу МКАДа, отдав ключи
от квартир и дач, от Кремля и от Мавзолея,
уходили в небо последние москвичи,
о своей прописке больше не сожалея.

Ибо каждому перед исходом был явлен сон –
золотой фонтан, поющий на русском и на иврите:
«Кто прописан в будущем, тот спасён,
забирайте детей своих и уходите...»

Шелестит паспортами усеянная тропа –
что осталось в городе одиночек:
коммунальных стен яичная скорлупа
и свиные рыльца радиоточек.

Это вам Москва метала праздничную икру –
фонари слипались и лопались на ветру,
а теперь в конфорках горит украинский газ,
а теперь по Арбату гуляет чеченский спецназ.

Лишь таджики-дворники, апологеты лопат,
вспоминая хлопок, приветствуют снегопад.
Даже воздух переживает, что он ничей:
не осталось в городе истинных москвичей.

Над кипящим МКАДом висится Алигьери Дант,
у него в одной руке белеет раскалённый гидрант,
свой народ ведёт в пустынные облака
и тебе лужковской кепкой машет издалека.

* * *

Протрубили розовые слоны
над печальной нефтью моей страны:
всплыли черти и водолазы...
А когда я вылупился, подросток —
самый главный сказал: «Посмотри, пиндос,
в небесах созрели алмазы,

голубеет кедр, жиреет лось,
берега в икре от лосося,
сколько можешь взять, чтоб у нас срослось,
ибо мы — совсем на подсосе.
Собирай, лови, извлекай, руби
и мечи на стол для народа,
но вначале — родину полюби
от катода и до анода,

чистый спирт, впадающий в колбасу, —
как придумано всё толково:
между прошлым и будущим — новый Су
и последний фильм Михалкова.
Человек изнашивается внутри
под общественной под нагрузкой,
если надо тебе умереть — умри,
смерть была от рожденья — русской...»

...Ближе к полночи я покидал аул,
по обычаю выбрив бошку,
задремал в пути, а затем свернул,
закурил косяк на дорожку:

подо мной скрипела земная ось,
распустил голубые лапы
кедр, на решку упал лосось
римским профилем мамы-папы.

Вот и лось, не спутавший берегов,
в заповедном нимбе своих рогов
мне на идиш пел и суоми
колыбельные о погроме.

Что с начала времён пребывало врозь,
вдруг очнулось, склеилось и срослось:
расписные осколки вазы
потянулись, влажные от слюды,
распахнулись в небе мои сады,
воссияли мои алмазы.

Вариации

В кармане — слипшаяся ириска:
вот так и находят родину, отчий дом.
Бог — ещё один фактор риска:
веруешь, выздоравливаешь с трудом,
сидишь в больничной палате
в застиранном маскхалате,
а за окном — девочки и мартини со льдом.

Сколько угодно времени для печали,
старых журналов в стиле «дрочи не дрочи»,
вот и молчание — версия для печати,
дорогие мои москвичи.
Поднимаешься, бродишь по коридору,
прислушиваешься к разговору:
«Анна Каренина... срочный анализ мочи...»

Мысли мои слезятся, словно вдохнул карболки,
дважды уходишь в себя, имярек.
«Как вас по отчеству?» — это главврач в ермолке.
«Одиссеевич, — отвечаю, — грек...»
Отворачиваюсь, на голову одеяло
натягиваю, закрываю глаза — небывало
одиноким, отчаявшийся человек.

О, медсёстры — Сцилла Ивановна и Харибда Петровна,
у циклопа в глазу соринка — это обол,
скорбны мои скитания: Жмеринка, Умань, Ровно...
Ранитидин, магнезия, димедрол...
Лесбос бояться — волком ходить, и ладно,
это Эллада или опять палата,
потолок, противоположный пол?

Русский индеец

Алексею Горбунову

Долго умирал Чингачгук – хороший индеец,
волосы его – измолотый чёрный перец,
тело его – пурпурный шафран Кашмира,
а пенис его – табак, погасшая трубка мира.

Он лежал на кухне, как будто приправа:
слева – газовая плита, холодильник – справа,
весь охвачен горячкою бледнолицей,
мысли его – тимьян, а слова – бергамот с корицей.

Мы застряли в пробке в долине предков,
посреди пустых бутылок, гнилых объедков,
считывая снег и ливень по штрихкоду:
мы везли индейцу огненную воду.

А он бредил на кухне, отмудохон ментами,
связан полотенцами и крест-накрест бинтами:
«Скво моя, Москво, брови твои – горностаи...» –
скальпы облаков собирались в стаи,

у ближайшей зоны выстраивались в колонны
гопники-ирокезы и щипачи-гуроны,
покидали генеральские дачи – апачи,
ритуальные бросив пороки,
выдвигались на джипах – чероки.

Наша юность навечно застряла в пробке,
прижимая к сердцу шприцы, косяки, коробки,
а в коробках – коньяк и три пластиковых стакана:
за тебя и меня, за последнего могикана.

Ковры

Уснули в шапках зайцы и бобры,
под капельницей зреют помидоры,
и лишь не спят советские ковры,
мерцающие, словно мониторы:

где схвачены под правильным углом
медведи невысокого росточка,
как Шишкин прав, как вышит бурелом,
как, братец, гениальна эта строчка.

Павлин, олени в пятнах и росе,
багровый от волнения физалис,
из вышитых пусть выжили не все,
и, слава богу, люди попадались.

Когда швеи устали от зверья,
от хвои, от рычания и пыли...
...И мы купили «Три богатыря»,
повесили на стену и прибили.

И вот теперь, исполненный седин,
гляжу в ковёр, не покидая ложа:
гэбэшник Муромец, Добрынюшка раввин,
гей-активист Попович ибн Алёша.

Пришествие

Чую гиблую шаткость опор, омертвенье канатов:
и во мне прорастает собор на крови астронавтов,
сквозь форсунки грядущих веков и стигматы прошедших, —
прёт навстречу собор дураков на моче сумасшедших.

Ночь — поддета багром ослеплённая болью белуга,
чую, как под ребром все соборы впадают друг в друга,
родовое сплетенье корней вплоть до мраморной крошки:
что осталось от веры твоей? Только рожки да ножки.

И, приветственно над головой поднимая портрет Терешковой,
миру явится бог дрожжевой по воде порошковой,
сей создатель обломков горяч, как смеситель в нирванной,
друг стеклянный, не плачь — заколочен словарь деревянный.

Притворись немотой/пустотой, ожидающей правки,
я куплю тебе шар золотой в сувенировой лавке —
до утра под футболку упрячь, пусть гадают спросонок:
это что там — украденный мяч или поздний ребёнок?

Будет нимб над электроплитой ошкетывать стужу,
и откроется шар золотой — бахромою наружу:
очарованный выползет ёж, и на поиски пайки
побредёт не Спаситель, но всё ж — весь в терновой фуфайке.

Принудительно яблочный крест на спине тяжелеет:
ёжик яблоки ест, ёжик яблоки ест, поедая — жалеет,
на полях Байконура зима, чёрно-белые строфы,
и оврага бездонная тьма как вершина Голгофы.

* * *

Жил да был человек настоящий,
если хочешь, о нём напиши:
он бродил с головнёю горячей,
спотыкаясь в потёмках души.

По стране постранично, построчно
он бродил от тебя до меня,
называющий родиной то, что
освещает его головня.

...Ускользящий пульс краснотала,
в «Рио-Риту» влюблённый конвой,
и не то чтоб её не хватало –
этой родины хватит с лихвой.

Будет видео фильма вандамить,
будет шахом и матом Корчной,
и по-прежнему девичья память
незабудкою пахнуть ночной.

Будет биться на счастье посуда
и на полке дремать Геродот,
даже родина будет, куда
человек с головнёю бредёт.

* * *

Вроде бы и огромно сие пространство,
а принимаешься — экий сортир, просранство,
приглядишься едва, а солнце уже утопло,
и опять — озорно, стозевно, обло.

Не утрашусь я вас, братья и сёстры по вере,
это стены вокруг меня или сплошные двери?
На одной из них Господь благодатной рукою
выпилит сквозное сердце вот такое.

Чтобы я сидел на очке с обрывком газеты
и смотрел через сердце на звёзды и на планеты,
позабыл бы о смерти, венозную тьму алкая,
плакал бы, умилялся бы: красота-то какая!

* * *

Патефон заведёшь — и не надо тебе
ни блядей, ни домашних питомцев,
очарует игрой на подзорной трубе
одноглазое чёрное солнце.

Ты не знаешь ещё, на какой из сторон,
на проигранной или на чистой,
выезжает монгол погулять в ресторан
и зарезать на бис пианиста.

Патефон потихоньку опять заведёшь;
захрипит марсианское чудо:
«Ничего, если сердце моё разобьёшь,
ведь нужнее в хозяйстве посуда...»

Замерзает ямщик, остывает суфле,
вьётся ворон, свистит хворостинка...
И вращаясь, вращаясь — сидит на игле
кайфоловка, мулатка, пластинка.

* * *

Летний домик, бережно увитый
виноградным светом с головой,
это кто там, горем не убитый
и едва от радости живой?

Это я, поэт сорокалетний,
на веранду вышел покурить,
в первый день творенья и в последний
просто вышел, больше нечем крыть.

Нахожусь в конце повествованья,
на краю вселенского вранья.
«В чём секрет, в чём смысл существованья?» —
вам опасно спрашивать меня.

Все мы вышли из одной шинели
и расстались на одной шестой,
вас как будто в уши поимели,
оплодотворили глухотой.

Вот представьте: то не ветер клонит,
не держава, не Виктор Гюго —
это ваш ребёнок рядом тонет,
только вы не слышите его.

Истина расходится кругами,
и на берег, в свой родной аул,
выползает чудище с рогами —
это я. А мальчик утонул.

* * *

А когда пришёл черёд умирать коту —
я купил себе самую лучшую наркоту:
две бутылки водки и закусь — два козинака,
и тогда я спросил кота —
что же ты умираешь, собака?

Помнишь, как я возил тебя отдыхать в Артек,
мой попугай-хомяк, мой человек,
я покупал тебе джинсы без пуговиц и ремня,
как же ты дальше будешь жить без меня?

* * *

Он пришёл в футболке с надписью «Je suis Христос»,
длинноволосый, но в этот раз – безбородый,
у него на шее случайной розой расцвёл засос,
у него возникли проблемы с людьми, с природой.
Золотую рыбку и чёрный хлеб превращал в вино,
а затем молодое вино превращал в горилку:
так ребёнок, которому выжить не суждено,
на глазах у всех разбивает кота-копилку.
Как пустой разговор, отправляется в парк трамвай,
светотени от звуков – длинней, холодней, аморфней,
но воскрес Пастернак, несмотря на скупой вайфай,
и принёс нам дверной косяк, героин и морфий.

2041

На премьерe в блокадном Нью-Йорке
в свете грустной победы над злом
чёрный Бродский сбегает с галёрки,
отбиваясь галерным веслом.

Он поёт про гудзонские волны,
про княжну (про какую княжну?),
и облезлые воют валторны
на фанерную в дырках луну.

И ему подпевает, фальшивя,
в високосном последнем ряду
однорукий фарфоровый Шива —
старший прапорщик из Катманду:
«У меня на ладони синица
тяжелей рукояти клинка...»

...Будто это Гамзатову снится,
что летят журавли табака.
И багровые струи кумыса
переполнили жизнь до краёв,
и ничейная бабочка смысла
заползает под сердце моё.

* * *

Я споткнулся о тело твоё и упал в дождевую
лужу с мёртвой водой, но ещё почему-то живу,
дай мне девичью память – крестильные гвозди забыть,
ты спасаешь весь мир для того, чтоб меня погубить.

Я споткнулся о тело твоё – через ручку и ножку –
в Гефсиманском саду, где шашлык догорал под гармошку,
дай ворованный воздух – в рихонские трубы трубить:
ты спасаешь весь мир для того, чтоб меня разлюбить.

Сколько праведных тел у судьбы – для войны и соблазна,
сосчитать невозможно, и каждая цифра заразна,
дай мне эхо своё, чтоб вернуться, на зов откликаюсь,
или минное поле – гулять, о тебя спотыкаясь.

* * *

«Хьюстон, Хьюстон, на проводе — Джигурда...»
...Надвигается счастье — огромное, как всегда,
если кто не спрятался, тот — еда.

А навстречу счастью: тыг-дык, тыг-дык —
устремился поезд Москва — Кирдык,
в тамбуре, там-тамбуре проводник
бреет лунным лезвием свой кадык.

Мы читаем Блокова, плакая в купе, —
это искупление и т. д., т. п.
«Хьюстон, Хьюстон, на проводе — проводник,
проводник-озорник, головою поник...»

За окном кудрявится, вьётся вдалеке
дым, как будто волосы на твоём лобке,
спят окурки тёмные в спичном коробке.

«Хьюстон, Хьюстон — это опять Джигурда...»
Золотой культёй направляет меня беда:
«Дурачок, ты всовываешь не туда,
и тогда я всовываю — туда, туда...»

* * *

Между крестиков и ноликов,
там, где церковь и погост,
дети режут белых кроликов
и не верят в холокост.

Сверху – вид обворожительный,
пахнет липовой ольхой,
это резус положительный,
а когда-то был плохой.

Жизнь катается на роликах
вдоль кладбищенских оград,
загустел от чёрных кроликов
бывший город Ленинград.

Спят поребрики, порожики,
вышел месяц без костей:
покупай, товарищ, ножики –
тренируй своих детей.

Рождественское

Окраина империи моей,
приходит время выбирать царей,
и каждый новый царь – не лучше и не хуже.
Подешевеет воск, подорожает драп,
оттает в телевизоре сатрап,
такой, как ты, – внутри,
такой, как я, – снаружи.

Когда он говорит: на свете счастье есть,
он начинает это счастье есть,
а дальше – многоточие хлопюшек...
Ты за окном салют не выключай,
и память – словно краснодарский чай,
и тишина – варенье из лягушек.

По ком молчит рождественский звонарь?
России был и будет нужен царь,
который эту лавочку прикроет.
И ожидает тех, кто не умрёт,
пивной сарай, маршрутный звездолёт,
завод кирпичный имени «Pink Floyd».

Подраненное яблоко-ранет.
Кто возразит, что счастья в мире нет
и остановит женщину на склоне?
Хотел бы написать: на склоне лет,
но это холм, но это снег и свет,
и это Бог ворочается в лоне.

* * *

Отгремели русские глаголы,
стихли украинские дожди,
лужи в этикетках «Кока-колы»,
перебрался в Минск Салман Рушди.

Мы опять в осаде и опале
на краю одной шестой земли,
там, где мы самих себя спасали,
вешали, расстреливали, жгли.

И с похмелья каялись устало,
уходили в землю про запас,
Родина о нас совсем не знала,
потому и не любила нас.

Потому что хамское, блатное
оказалось ближе и родней,
потому что мы совсем другое
называли Родиной своей.

* * *

Звенит карманная медь, поёт вода из трахей:
а если родина — смерть, а если Дракула — гей?
Зажги лампаду в саду, в чужом вишнёвом саду,
в каком не помня году проснись на полном ходу,

и раб детей Винни-Пух, и князь жуков короед
тебя проверят на слух, затем укутают в плед:
сиди себе и смотри, качаясь в кресле-кача,
на этот сад изнутри, где вишню ест алыча,

когда в лампаде огонь свернётся, как эмбрион,
цветком раскроется конь, а с чем рифмуется он?
Не то чтоб жизнь коротка, но от звонка до звонка,
ты — часть её поводка, ты — яд с её коготка.

* * *

Бегут в Европу чёрные ходоки,
плывут в Европу чёрные ходоки,
а их встречают белые мудаки –
свиных колбасок мерзкие едоки.

Вокзал вонзит неоновые клыки –
и потекут из яремной вены
вода, одежда, памперсы, сухпайки,
цветы и средства для гигиены.

У белых женщин бёдра как верстаки,
у белых женщин слабые мужики,
но всё исправят чёрные ходоки,
спасут Европу чёрные ходоки.

В Берлине снег, внизу продаётся скотч,
сосед за стенкой меня не слышит:
зачем он пьёт по-чёрному третью ночь,
а может быть, он набело что-то пишет.

К примеру: «...больше нет ничего,
остался дом и дряхлое, злое тело,
и только смерть ползёт змеёй для того,
чтоб жизнь моя над высоким огнём летела...»

* * *

За окном троллейбуса темно,
так темно, что повторяешь снова:
за окном троллейбуса окно
чёрного автобуса ночного.

Как живёшь, душа моя Низги,
до сих пор тебе не надоело
мужу компостировать мозги,
солидолом смазывая тело.

Правый поворот, районный суд,
караоке на костях и танцы,
то сосну, то ёлочку снесут
в зимний лес коварные веганцы.

Так темно, что не видать снега,
ветер гонит угольную пену,
я троллейбус, у меня рога:
родина, спасибо за измену.

* * *

Аццкий афftar, вещей Баян, не много ль
мёрзлых букв и мраморной крошки в твоих мечтах?
Посреди зимы проклюнется редкий Гоголь,
очарованный утконосый птах.

Снегопад, и ты живьём замурован в сказку,
где на всех — для плача и смеха — одна стена,
и слепой художник вгоняет эпоху в краску,
а его бросают любовница и жена.

Остаётся сырые книги в потёмках трогать,
браконьерствовать — водкой глушить тоску,
и торчит звезды в заусеницах жёлтый ноготь —
время штопать носки, уезжать в Москву.

Что Москва? Не зря Долгорукий в пьяном
пароксизме взялся за этот труд:
дальновиден был — потому что даже славянам
на погосте нужен свой Голливуд,

точка сборки, дворцовый ответ Бараку,
вот и едем мы сквозь заснеженную страну —
расстрелять поэта, отправить на Марс собаку,
по большому счёту выиграть войну.

государственный строй, что дурным воспитаньем
развратил молодёжь,
иудеев, торгующих детским питаньем,
диссидентский галдёж,

брадобрея-тирана, чиновников-татей,
рифмачей от сохи:
чем презреннее вождь, тем поэт мелковатей
и понятней стихи.
Не дано нам, товарищ, погибнуть геройски,
и не скинуть ярмо:
всяк рождённый в Бобруйске – умрёт в Геморройске,
будет пухом – дерьмо.

Пахнет воздух ночной раскалённым железом
и любимой едой,
басурманский арбуз, улыбаясь надрезом,
распахнётся звездой,
и останется грифель, стремящийся к свету,
заточить в карандаш,
хорошо, что унылую лирику эту
не пропьёшь, не продашь.

* * *

Чертополох обнимет ангелополоху,
вонзит в неё колючки и шипы,
вот так и я – люблю свою эпоху,
и ты, моя эпоха, не шипи.
Смотри через плечо на эти рельсы:
как пальмовое масло пролилось
и Аннушку Каренину карельцы
ведут к путям, промасленным насквозь.
Ревёт состав, заваливаясь набок,
а вслед за ним ревёт другой состав,
и в этом деле важен только навык,
азартный ум и воинский устав.
Когда вернусь в Карелию-Корею –
возьму планшет, прилягу на кровать,
как хорошо, что я ещё умею
любить тебя и деньги рисовать.

* * *

Пушкин вырвал мой раздвоенный язык,
посолил его и съел на посошок,
я с рождения к молчанию привык,
у меня таких молчаний вещмешок.

В чёрной комнате усталый человек —
афроукр, только белый изнутри,
сколько в нём сожгут моих библиотек,
сколько пауз в нём заполнят пустыри.

Я скрываюсь, словно бог и паразит,
прячусь в радиодеталях и хвощах,
говорят, что мне бессмертье не грозит,
и о прочих риторических вещах.

Злую рукопись в камине растоплю,
вместо спама — разошлю благую весть,
что ж ты плачешь, милый, я тебя люблю,
хорошо, что ты такой у бога есть.

* * *

Повторов, ты в единственном числе,
непохмелённый, въехал на осле –
через пустыню – в Яффские ворота,
как золото с мечтой о санузле –
на бороде твоей сияла рвота.

И мы вошли толпою за тобой,
вставал закат с прокушенной губой,
в часах песочных – середина мая,
о, как мы долго верили в запой,
твои тылы надёжно охраняя.

На горизонте лопнула печать,
нас были тьмы, теперь осталось пять:
я, снова я, разьевшийся, как боров,
прошу, не умолай тебя распять,
мой переводчик, старый друг Повторов.

И эту страсть, враждебную уму,
не избежать, Повторов, никому,
смотри, как перевёрнута страница,
и холм стихотворения в дыму,
и крест на нём – двоится и троится.

* * *

А ведь раньше не было ничего,
то есть было всё, состоящее из ничего,
пустота в бесконечном ассортименте,
выбирай что хочешь: водку или водку,
а встретишь докторскую колбасу —
кланяйся, передавай привет,
хлеб — всему голова, не забудь позвонить,
а стаканчики сами найдутся.

И когда уж совсем ничего-ничего,
появляются сонные женщиныны
ничего из себя, симпатичное,
а затем появляются дети,
говорят, почему из тебя ни фига,
и стихи, говорят, у тебя ничего,
только это — война или водка?
Это всё — отвечаю. Последнее всё,
а стаканчики сами найдутся.

* * *

Жизнь моя, если ты и вправду моя,
если я не в тягость тебе, откуда
сей зубовный скрежет и рваные в кровь края,
будто кто-то прогрыз дыру в сердцевине чуда:

и в неё, шевеля крысиным хвостом,
проникает вечерний свет и приносит сырость
корабельных трюмов, горящую весть о том,
что не я у тебя, а ты у меня случилась.

Из одной бутылки сделаешь два глотка:
первый — чтоб позабыть все имена и лица,
за упокой своей памяти, от макушки и до лобка,
а второй — чтобы просто опохмелиться.

Рождество, марсианский полдень, еже писах, писах,
обрастая шерстью, на кухне мычишь крамолы,
постучится мысль, как чужая жена в слезах,
приоткроешь дверь, а это твой сын из школы.

* * *

Ты обнимешь меня облепиховыми руками
и обхватишь ногами из молочая,
будем жить вот так – не отклеиваясь веками,
непрерывно трахаясь и кончая.

Заходя в музеи, вигвамы, общаясь со стариками,
нежную привязанность излучая,
будем жить вот так – не отклеиваясь стихами,
непрерывно трахаясь и кончая.

а когда мы вернёмся из Брюгге
навсегда в приднепровскую сыть,
я куплю тебе платье и брюки,
будешь платье и брюки носить.

* * *

вы господин Лимонов?
спросил меня
пожилой негр
у входа
в «Билингу»
опрятно одетый
ровное дыхание
беглеца
вдоль набережной
жизни
макияж

нет я не Лимонов
ответил ему
и закурил
электронную
сигарету
нет я не Лимонов
он вождь
а я консерватор
он дышит
воздухом свободы
а я никотином
он пьёт бордо
а я просто
алкоголик
у меня нет
ничего
а у Лимонова
борода и очки

вижу
согласился
пожилой негр
тогда передайте
Лимонову
что он был
нежным
и чувственным
мальчиком
тогда
в 1976 году
на чердаке
в Нью-Йорке
передайте
и протянул мне
ладонь
изнутри
желтоватую
как сперма
больного
белого
человека

Отплывающим

Над пожарным щитом говорю: дорогая река,
расскажи мне о том, как проходят таможеню века,
что у них в чемоданах, какие у них паспорта,
в голубых амстердамах чем пахнет у них изо рта?

Мы озявшие дети, наследники птичьих кровей,
в проспиритованной Лете ворованных режем коней,
нам клопы о циклопах поют государственный гимн,
нам в писательских жопах провозят в Москву героин.

Я поймаю тебя в проходящей толпе облаков
на живца октября, на блесну из бессмертных стихов,
прямо из женского рода, хватило бы наверняка
мне в чернильнице йода, в Царицыно — березняка.

Пусть охрипший трамвайчик на винт наматывает судьбу,
пусть бутылочный мальчик сыграет про ящик в трубу,
победили ни зло, ни добро, ни любовь, ни стихи,
просто время пришло, и Господь отпускает грехи.

Чтоб и далее плыть на особенный свет вдалеке,
в одиночестве стыть, но теперь — налегке, налегке,
ускользая в зарю, до зарезу не зная, о чём
я тебе говорю, почему укрываю плащом?

Чёрный
вареник

Чёрный вареник

В чёрной хате сидит Петро без жены и денег,
и его лицо освещает чёрный-чёрный вареник,
пригорюнился наш Петро: раньше он працювал в метро,
а теперь он сельский упырь, неврастеник.

Перезревшая вишня и слишком тонкое тесто –
басурманский вареник, о, сколько в тебе подтекста –
окунёшься в сметану, свекольной хлебнёшь горилки,
счастье – это насквозь трюеточие ржавой вилки.

Над селом сгущается ночь, полнолуние скоро,
зацветает волчья ягода вдоль забора,
дым печной проникает в кровь огородных чучел,
тишина, и собачий лай сам себе наскучил.

Вот теперь Петро улыбается нам хитро,
доставайте ярый чеснок и семейное серебро,
не забудьте крест, осиновый кол и святую воду...
Превратились зубы в клыки, прячьтесь, бабы и мужики,
се упырь Петро почуял любовь и свободу.

А любовь у Петра – одна, а свободы – две или три,
и теперь наши слёзы текут у Петра внутри,
и теперь наши кости ласкает кленовый веник,
кто остался в живых, словно в зеркало, посмотри –
в этот стих про чёрный-чёрный вареник.

* * *

Говорят, что смерть боится щекотки,
потому и прячет свои костлявые пятки
то в смешные шлёпанцы и колготки,
то в мои ошибки и опечатки.

Нет, не все поэты – пиздострадальцы, –
думал я, забираясь к смерти под одеяльце:
эх, защекочу, пока не сыграет в ящик,
отомщу за всех под луной скорбящих –
у меня ведь такие длиинные пальцы,
охуенно длинные и нежные пальцы!

Но когда я увидел, что бёдра её медовы,
грудь – подобна мускатным холмам Кордовы,
отключил мобильник, поспешно задёрнул шторы,
засадил я смерти по самые помидоры.

...Где-то на Ukraine, у вишнёвом садочку,
понесла она от меня сына и дочку,
в колыбельных вёдрах, через народы,
через фрукты-овощи, через соки-воды...

Говорят, что осенью Лета впадает в Припять,
там открыт сельмаг, предлагая поесть и выпить,
и торгуют в нём не жида, не хохлы, не йети,
не цапаы, не зомби, а светловолосые дети:

у девчонки – самые длинные в мире пальцы,
у мальчишки – самые крепкие в мире яйца,
вместо сдачи они повторяют одну и ту же фразу:
«Смерти – нет, смерти – нет,
наша мама ушла на базу...»

Бэтмэн Сагайдачный

«Новый Lucky Strike» – посёлок дачный, слышится собачий лайк,
это едет Бэтмен Сагайдачный, оседлав роскошный байк.
Он предвестник кризиса и прочих апокалипсических забав,
но у парня самобытный почерк, запорожский нрав.
Презирует премии, медали, сёрбаёт вискарь,
он развозит Сальвадора Даля матерный словарь.

В зимнем небе теплятся огарки, снег из-под земли,
знают парня звери-олигархи, птицы-куркули.
Чтоб не трогал банки и бордели, не сажал в тюрьму –
самых лучших девственниц-моделей жертвуют ему.
Даже украинцу-самураю трудно без невест.
Что он с ними делает? Не знаю. Любит или ест.

* * *

Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы...

У первого украинского дракона были усы,
роскошные серебристые усы из загадочного металла,
говорили, что это сплав сала и кровяной колбасы,
будто время по ним текло и кацапам в рот не попало.

Первого украинского дракона звали Тарас,
весь в чешуе и шипах по самую синюю морду,
эх, красавец-гермафродит, прародитель всех нас,
фамилия Тираннозавренко опять входит в моду.

Представьте себе просторы ничейной страны,
звериные нравы, гнилой бессловесный морок,
и вот из драконьего чрева показались слоны,
пританцовывающая и трубя «Семь-сорок».

А вслед за слонами поддатые люди гурьбой,
в татуировках, похожих на вышиванки,
читаем драконью библию: «Вначале был мордобой...
...Запорожцы – это первые панки...»

Через абзац: «Когда священный дракон издох,
и взошли над ним звезда Кобзарь и звезда Сердючка,
и укрыл его украинский народный мох,
заискрилась лагерная колючка,

в поминальный веночек вплелась поебень-трава,
потянулись вражьи руки к драконьим лапам...» —
далее неразборчиво, так и заканчивается глава
из Послания к жидам и кацапам.

Боевой гопак

Покидая сортир, тяжело доверять бумаге,
ноутбук похоронен на кладбище для собак,
самогонное солнце густеет в казацкой фляге –
наступает время плясать боевой гопак.

Вспыхнет пыль в степи:

берегись, человек нездешний,
и, отброшен музыкой, будто взрывной волной,
ты очнёшься на ближнем хуторе под черешней,
вопрошая растерянно: «Господи, что со мной?»

Сгинут бисовы диты и прочие разночинцы,
хай повсюду – хмельная воля да пуст черпак,
ниспошли мне, Господи, широченные джинсы –
«шаровары-страус» – плясать боевой гопак.

Над моей головой запеклась полынья полыни –
как драконья кровь, горьковата и горяча,
не сносить тебе на плечах кавуны и дыни,
поскорей запрягай кентавров своих, бахча.

Кармазинный жупан, опояска персидской ткани,
востроносые чоботы, через плечо – ягдташ,
и мобилка вибрирует, будто пчела в стакане...
...Постепенно степь впадает в днепровский пляж.

Самогонное солнце во фляге проносят мимо,
и опять проступает патина вдоль строки,
над трубой буксира висит оселедец дыма,
теребит камыш поседевшие хохолки.

* * *

Наш президент распят на шоколадном кресте:
восемьдесят два процента какао, спирт, ванилин, орехи,
вечность — в дорожной карте, смерть — в путевом листе,
только радиоволны любят свои помехи.

Будто бы всё вокруг — сон, преходящий в спам:
ржут карусельные лошади без педалей,
вежливые гармошки прячутся по кустам,
топчутся по костям — клавишам от роялей.

Здесь на ветру трещат в круглом костре углы,
здесь у квадратной воблы вся чешуя истёрта,
и, несмотря на ад, снятся ему котлы,
плач и зубовный скрежет аэропорта,

голос, рингтон, подобный иерихонской трубе,
только один вопрос, снимающий все вопросы:
«Петя, сынку, ну что — помогли тебе
ляхи твои, твоя немчура и твои пиндосы?»

Наша война ещё нагуливает аппетит,
мимо креста маршируют преданные комбаты,
но Пётр поднимает голову и победно хрипит:
«Восемьдесят два процента какао, спирт, ванилин, цукаты...»

* * *

Война предпочитает гречку,
набор изделий макаронных:
как сытые собаки в течку –
слипаются глаза влюблённых.

Предпочитает хруст печенья,
и порошок вкус омлета,
и веерные отключенья
от милосердия и света.

И будет ночь в сапёрной роте,
когда, свободные до завтра,
как в фильме или в анекдоте –
вернутся взрослые внезапно.

Они не потревожат спящих,
хозяин дома – бывший плотник,
Господь похож на чёрный ящик,
а мир – подбитый беспилотник.

Нас кто-то отловил и запер,
прошла мечта, осталась мрiя,
и этот плотник нынче снайпер,
и с ним жена его Мария.

Поминальная

Многолетний полдень, тучные берега –
не поймёшь, где пляжники, где подпаски,
по Днепру сплавляют труп моего врага –
молодого гнома в шахтёрской каске.

Пешеходный мост опять нагулял артрит,
тянет угольной пылью и вонью схрона,
и на чёрной каске врага моего горит
злой фонарь, багровый глаз Саурана.

Середина киевского Днепра,
поминальная – ох, тяжела водица,
и на тело гнома садится его сестра –
очень редкая в нашем районе птица.

Донна Луга – так зовут её в тех краях,
где и смерть похожа на детский лепет,
вся она как будто общество на паях:
красота и опухоль, рак и лебедь.

Вот и мы когда-нибудь по маршруту Нах
вслед за ними уйдём на моторных лодках,
кто нас встретит там, путаясь в именах:
жидозьфы в рясах, гоблины в шушунах,
орки в ватниках, тролли в косоворотках?

Чистилище

Этот девственный лес населяют инкубы,
а над ним – кучевые венки,
и у звёзд выпадают молочные зубы:
вот такие дела, старики.

Дикий воздух гудел, как пчелиные соты,
где природа – сплошной новодел,
я настроил прицел и сквозь эти красоты
на тебя, моя радость, глядел.

Вот инкуб на суку пустельгу обрюхатил,
опускается ночь со стропил:
жил на свете поэт, украинский каратель –
потому что Россию любил.

Инструкция

фотографируй еду
перед тем как с нею
фотографируй еду
станет она вкуснее

фотографируй ну-
жник в котором люди
нам подают войну
будто пейзаж на блюде

эти бинты и йод
не просыхают с мая
может и смерть пройдёт
кадры свои спасая

фотографируй срез
времени в чёрно-белом
чей там зубной протез
щерится под обстрелом

Сквозь гробовую щель
фотографируй лица
о жена моя вермишель
гречка моя сестрица

* * *

Солнцем снег занесло: каждый метр — солдатский, погонный,
золотится зима, принимая отвар мочегонный,
я примёрз, как собачий язык примерзает к мертвецкой щеке,
а у взводного — рот на замке.

Солнцем снег занесло, и торчат посреди терриконов
то пробитое пулей весло, то опять новогодняя ель,
в середине кита мы с тобой повстречались, Ионов,
и, обнявшись, присели на мель.

А вокруг: солнцем снег занесло вдоль по лестничной клетке,
и обломки фрегатов напали на наши объедки,
для чего мы с тобою сражались на этой войне,
потому что так надобно было какой-то гэбне —
донесли из разведки.

Облака по утрам как пустые мешки для котят,
в министерстве культуры тебя и меня запретят:
так и будем скитаться, ходить по киту в недоумках,
постоянно вдвоём, спотыкаясь, по краю стола, —
демон жертвенной похоти, сумчатый ангел бухла —
с мочегонным отваром в хозяйственных сумках.

Серая зона

Гражданин соколиный глаз,
я так долго у вас, что ячменным зерном пророс,
и теперь эти корни — мои оковы,
пригласите, пожалуйста, на допрос
свидетелей Иеговы.

В тёмной башне, как Стивен Кинг,
тишина — сплошной музыкальный ринг,
роковая чёрточка на мобильном,
я так долго у вас, что опять превратился в свет,
в молодое вино, в покаяние и минет,
в приложение к порнофильмам.

Гражданин соколиный глаз,
я ушёл в запас, если вечность была вчера,
то теперь у неё конечности из резины,
для меня любовь — это кроличья нора,
все мы — файлы одной корзины.

В тёмной башне — дождь, разошлась вода —
жизнь, обобранная до нитки,
и, замыслив побег, я тебе подарил тогда
пояс девственности шахидки.

* * *

Пастырь наш, иже еси, и я — немножко еси:
вот картошечка в маслице и селёdochка иваси,
монастырский, слегка обветренный, балычок,
вот и водочка в рюмочке, чтоб за здравие — чок.

Чудеса должны быть съедобны, а жизнь — пучком,
иногда — со слезой, иногда — с чесночком, лучком,
лишь в солдатском звякает котелке
мимолётная пуля, настоящая на молоке.

Свежая человечина, рыпаться не моги,
ты отмечена в кулинарной книге Бабы-Яги,
но и в кипящем котле не теряй лица,
смерть — сочетание кровушки и сальца.

Нет на свете народа, у которого для еды и питья
столько имён ласкательных припасено,
вечно голодная память выныривает из забвения —
в прошлый век, в тридцать третий год, в посёлок Емильчино:

выстуженная хата, стол, огрызок свечи,
бабушка гладит внучку: «Милая, не молчи,
закатилось красное солнышко за леса и моря,
сладкая ты моя, вкусная ты моя...»

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,
Господи, постоянно хочется есть,
хорошо, что прячешься и поэтому невредим,
ибо если появишься — мы и Тебя съедим.

Выход из котла

Мой глухой, мой слепой, мой немой возвращались домой:
и откуда они возвращались, живым не понять,
и куда направлялись они, мертвецам наплевать,
день отсвечивал передом, ночь развернулась кормой.

А вокруг – не ля-ля тополя, заливные поля,
где пшеница, впадая в гречиху, наводит тоску,
где плывёт мандельштам, золотым плавником шевеля,
саранча джугашвили читает стихи колоску.

Оттого и смотрящий в себя от рождения слеп,
по наитию глух, говорим, говорим, говорим:
белый свет, как блокадное масло, намазан на склеп,
я считаю до трёх, накрывая поляну двоим.

Остаётся один – мой немой, и не твой, и ничей:
для кого он мычит, рукавом утирая слюну,
выключай диктофоны, спускай с поводков толмачей –
я придумал уют, чтоб загладить чужую вину.

Возвращались домой: полнолуния круглый фестал,
поджелудочный симонов – русским дождём моросся,
это неизменный смысл – на запах и слух – прирастал
или образный строй на глазах увеличивался?

* * *

С молодых ногтей был увлечён игрой:
давя прыщи, я раздавил не глядя
пасхальное яйцо с кощевой иглой,
скажи-ка, дядя,

недаром я бродил во тьме береговой,
где по усам текло и по волнам бежало,
как хрустнуло столетье под ногой –
смертельное, ржавеющее жало.

И объяснил мне комендант Першко,
цветную скорлупу в карманы собирая,
что у войны – не женское ушко,
что есть игла вторая –

в неё продета ариадны нить,
и можно вышивать на полотне лимана:
убитых – крестиком, а кто остался жить –
спокойной гладью правды и обмана.

Часть гобелена, гвоздь картины всей –
горит маяк, но светит мимо, мимо,
и счастлив я, как минотавр Тесей,
как губернатор Крыма.

Открытка

А вот кофе у них дерьмо, – говорил пожилой монгол,
да и вся земля – это будущие окопы,
и любовь у них безголова, как богомол,
мысли – белые, помыслы – черножопы.

То ли наша степь: полынь, солончак с икрой,
где парят над подсолнухами дельфины,
хорошо, что я поэт не первый, поэт второй,
хорошо, что я зависим от Украины.

Как бессмысленна в здешних краях зима:
бадминтон снегов и набитый солью воланчик,
а вот мясо у них – ништяк, шаганэ моя, шаурма,
сердце – ядерный чемоданчик.

А когда меня проклянут на родной земле,
ибо всякий прав, кто на русский язык клеветет,
надвигается осень, желтеет листва в столе,
передай, чтобы выслали деньги и тёплые вещи.

Кошер

Время – это огнёмёт и водомёт
над гнездом воронки,
рана рано или поздно заживёт
на своей сторонке.

Сгинут наши и не наши вороги,
феникс – многоразовая птаха,
одноногий встал не с той ноги
в эпицентре праха.

Сгинут гаджеты и книги до зари,
сгинут лайки, теги,
мы тогда с тобою встретимся, Мари, –
в газовом ковчеге.

Обесмыслен доктор в колбасе,
сплавились медали,
сгинут все, и даже слово «все»,
чтоб не начинали.

Будет пахнуть кашемиром пустота,
белый свет – торшером,
самым первым я придумаю кота,
назову Кошером.

* * *

Был бы я полубогом, крышующим воду и глину,
наполовину пустым или полным наполовину,
снизу – покрыт корой, а сверху – в пчелином рое:
то одно, то второе, дробью – одно второе.

Был бы я Полуботком, гетьманом на подхвате,
в берцах от волонтёров или в кацапском халате:
курил бы файну люльку, стучал бы вдовам у шибку,
ловил бы сказку на старика и рыбку.

Это теперь я такой – одинокий, цельный,
ибо книга нашей жизни – список расстрельный,
где у всякой сказки есть конец оптимальный –
то он радужный, а то и гетеросексуальный.

* * *

Что-то худое на полном ходу
выпало и покатилося по насыпи,
наш проводник прошептал: «Нихрена себе...» —
что-то худое имея в виду.

Уманский поезд, набитый раввинами,
там, где добро и грядущее зло,
будто вагоны, сцепились вагинами,
цадик сказал: «Пронесло...»

Чай в подстаканнике, ночь с папиросами,
музыка из Сан-Тропе,
тени от веток стучались вопросами
в пыльные окна купе.

Лишь страховому препятствуя полису,
с верой в родное зверьё
что-то худое оврагом и по лесу
бродит, как счастье моё.

* * *

Зима наступала на пятки земли,
как тень от слепца в кинозале,
и вышла на лёд, и тогда корабли
до мачты насквозь промерзали.

И больше не будет ни Бога, ни зла
в твоём замороженном теле,
чтоб каждая мачта, желтея, росла
соломинкой в страшном коктейле.

Чтоб жажды и мыслей последний купаж
хранить в саркофаге, как Припять,
и можно всех призраков, весь экипаж
из этой соломинки выпить.

* * *

Андрею Макаревичу

Комиссары нюхали кокаин,
отвыкая от солонины,
больше в мире не было украин,
потому что кончились украинны.

День мерцал фонариком на корме,
отплывая в залив Бискайя,
я тогда сидел третий год в тюрьме —
на поруки бороду отпуская.

Говорят, что завтра придёт весна
и, опухнувшая от пьяни,
на майдан подтянется матросня,
а за ней приползут крестьяне.

Затекая в рифму, прольётся кровь,
и туда ей теперь дорога,
что такое, братец, твоя любовь —
это зрада и перемога.

Треугольный народ соберут в кружок
бородай, парубий, ефремов:
желтоватый гибельный порошок
раздавая из пыльных шлемов.

Курение джа

Что-то потрескивает в папиросной бумаге:
как самосад с примесью конопли,
как самосуд в память о Карадаге,
и, затаившись, смотришь на корабли.

Вечер позолотил краешек старой марли,
и сквозь неё проступают мачты, мечты, слова —
складываются в молитву, в музыку Боба Марли,
в бритву, в покрытые пеной крымские острова.

Мокрые валуны правильными кругами
расходятся от тебя, брошенного навсегда.
Но кто-то целует в шею и обхватывает ногами,
и ты выдыхаешь красный осколок льда.

* * *

Крыша этого дома – пуленепробиваемая солома,
а над ней голубая глина и розовая земля,
ты вбегаешь на кухню, услышав раскаты грома,
и тебя встречают люди из горного хрусталя.

Дребезжат, касаясь друг друга, прозрачные лица,
каждой гранью сияют отполированные тела,
старшую женщину зовут Бедная Линза,
потому что всё преувеличивает и сжигает дотла.

Достаёшь из своих запасов бутылку токая,
и когда они широко открывают рты –
водишь пальцем по их губам, извлекая
звуки нечеловеческой чистоты.

Из цикла «Приборы бытия»

Мне подарила одна маленькая воинственная страна
газовую плиту от фирмы «Неопалимая Купина»:
по бокам у неё стереофонические колонки,
а в духовке – пепел, хрупкие кости, зубные коронки,
и теперь уже не докажешь, чья это вина.

Если строго по инструкции, то обычный омлет
на такой плите готовится сорок пустынных лет:
всеми брошен и предан, безумный седой ребёнок,
ты шагаешь на месте, чуешь, как подгорает свет,
и суровый Голос кровотоцит из колонок.

* * *

Полусонной сгоревшею спичкой
пахнет дырочка в нотном листе.
Я открою скрипичной отмычкой
инкерманское алиготе.

Вы услышите клёкот грифона,
и с похмелья привидится вам:
запятую латунь саксофона
афроангел подносит к губам.

Это будет приморский посёлок —
на солдатский обмылок похож.
Это будет поэту под сорок,
это будет прокрустова ложь.

Разминая мучное колено
пэтэушницы из Фермопил...
...помню виолончельное сено,
на котором её полюбил.

Это будет забытое имя
и сольфеджио грубый помол.
Вот её виноградное вымя
комсомольский значок уколол.

Вот читаю молчанье о полку,
разрешаю подстричься стрижу
и в субботу молю кофемолку
и на сельскую церковь гляжу.

Чья секундная стрелка спешила
приговор принести на хвосте?
Это – я, это – пятка Ахилла,
это – дырочка в нотном листе.

* * *

Володе Ткаченко

День гудел, не попадая в соты,
и бельё висело на столбах,
так висят классические ноты,
угадай: кальсоны или Бах?

Воздух был продвинутый, красивый
и неопиcуемый пока,
пахло псиной и поддельной ксивой,
молодильным яблоком греха.

Пепел ударения сбивая,
я уснул в беседке у ручья,
мне приснилась родина живая,
родина свободная, ничья.

Осень, где подсолнухи одеты
в джинсовое небо с бахромой,
поступают гопники в поэты
и не возвращаются домой.

Венецианский триптих

1

Чем дольше я в Венецию не еду,
тем ближе и отчётливей она,
и память, что отпущена по следу,
в зубах приносит пробку от вина.

Quercus suber, редкость небольшая —
фиалкой пахнет, музыкой подвод,
я вспоминаю кьянти урожая...
Да, это был неурожайный год.

Купаж из смальты, камня и металла,
тускнеющий от жажды терракот,
гулящая Венеция дремала —
но по привычке открывала рот.

А ночью в запылённые стаканы
мохнатые стучались мотыли,
покуда из Пьемонта и Тосканы
хорошее вино не привезли.

Я не был здесь, но вспоминаю пьяцца
Сан-Марко, возвращение домой,
мою любовь, чьи волосы струятся,
и женщину, беременную мной.

2

Чумацкая, поющая «'O sole,
'o sole mio...» полночь проплывёт –
изогнутая, как стручок фасоли,
и мост привычно втянет свой живот,
боясь щекотки более, чем боли.

На пристани поскрипывают доски,
кофейники зевают невпопад,
и ты, мой друг, божественна чертовски,
но вот уже светает, новый ад
сейчас откроют Медичи и Босхи.

Пока изюм ворочается в тесте,
наносятся последние мазки,
и то, что нас удерживает вместе,
других бы разорвало на куски,
на похоронки и благие вести.

3

Вот гондольер, и солнечная смазка
ещё лоснится на его лице,
усат, ребрист, он говорит: «Будь ласка,
но истина – в поленте и в тунце,
а книжный переплёт – сплошная маска...»

Поберегись, прекрасное мгновенье, –
се ангел-гондольер предохраненья.
И на десерт – поцеловав Франциску,
спускается к гондоле тяжело
и, между волн вонзая зубочистку,
вдруг вытащит волшебное весло –
блестит эмаль, подверженная риску.

Туристы из Одессы, старички-
супруги, пенсионные планеты:
морщин меридианы, и очки
чернеют на глазах, как две монеты,
за перевоз, в какие наши Леты?

И мы плывём сквозь виноградный жмых —
два полумёртвых, два полуживых,
одни — к поэту, на могилу Б.,
другие — на прощание к себе.
И тишины классическая fuga
из райского не выпускает круга.

Аккордеон

Когда в пустыне на сухой закон
дожди плевали с высоты мечетей
и в хижины вползал аккордеон,
тогда не просыпался каждый третий.

Когда в Европе орды духовых
вошли на равных в струнные когорты,
аккордеон не оставлял в живых,
живых — в живых, а мёртвых — даже в мёртвых.

А нынче он не низок, не высок,
кирпич Малевича, усеянный зрачками,
у пианино отхватил кусок
и сиганул в овраг за светлячками.

Последний в клетке этого стиха,
все остальные — роботы, подделки,
ещё хрипят от ярости меха
и спесью наливаются гляделки.

А в первый раз: потрёпанная мгла
над Сенной, словно парус от фелюки...
...Аккордеон напал из-за угла,
но человек успел подставить руки.

* * *

Непокорные космы дождя, заплетённые, как
растаманские дреды, и сорвана крышка с бульвара,
ты прозрачна, ты вся, будто римская сучка, в сосках,
на промокшей футболке грустит о тебе Че Гевара.

Не грусти, команданте, ещё Алигьери в дыму
круг за кругом спускается на карусельных оленях,
я тебя обниму, потому что её обниму,
и похожа любовь на протёртые джинсы в коленях.

Вспоминается Крым, сухпайковый, припрятанный страх,
собирали кизил и всё время молчали о чём-то,
голышом загорали на пляже в песочных часах,
окружённые морем и птичьим стеклом горизонта.

И под нами песок шевелился и, вниз уходя,
устилал бытие на другой стороне мироздания:
там скрипит карусель и пылают часы из дождя,
я служу в луна-парке твоим комиссаром катанья.

* * *

И однажды пленённому эллину говорит колорад-иудей:
«Я тебя не прощаю, но всё же — беги до хаты,
расскажи матерям ахейским, как крошили мы их детей,
как мы любим такие греческие салаты.

Расскажи отцам, что война миров, языков, идей
превратилась в фарс и в аннексию территорий,
вот тебе на дорожку шашлык и водка из снегирей,
вот тебе поджопник, Геракл, или как там тебя, Григорий...»

...За оливковой рощей — шахтёрский айд в огне,
и восходит двойное солнце без балаклавы,
перемирию — десять лет; это кто там зигует мне,
это кто там вдали картавит: «Спартанцам слава!»?

«Гиркинсону шалом!» — я зигую ему в ответ,
возвращаюсь в походный лагерь на перекличку,
перед сном достаю из широких штанин планшет,
загружаю канал новостей, проверяю личку.

Там опять говорит и показывает Христос:
о любви и мире, всеобщей любви и мире,
как привёл к терриконам заблудших овец и коз,
как вначале враги мочили его в сортире,
а затем глупцы распяли в прямом эфире,
и теперь по скайпу ты можешь задать вопрос.

* * *

Это пост в фейсбуке, а это блокпост на востоке,
наши потери: пять забаненных, шесть «двухсотых»,
ранены все: укропы, ватники, меркель, строки,
бог заминирован где-то на дальних высотах.
Это лето – без бронжилета, сентябрь – без каски,
сетевой батальон «Кубань» против нашей диванной сотни,
я тебе подарю для планшета чехол боевой окраски,
время – это ушная сера из подворотни.

Что, в конце концов, я сделал для этой малышки:
тербил курсором её соски, щекотал подмышки?
Ведь она так хотела замуж, теперь в отместку
отсосёт военному и мне принесёт повестку.

Да пребудут благословенны её маечка от лакосты,
скоростной вайфай, ваши лайки и перепосты,
ведь герои не умирают, не умирают герои,
это первый блокпост у стен осаждённой Трои.

* * *

Как темнота от фонаря
живёт одна в сухом остатке,
и солнцу в августе не зря
приходят мысли о закатке.

Не зря любил тебя, не зря,
слепец, почуявший измену,
я уходил в ночную смену,
подняв рогами якоря.

О, как жестоко и по-детски
мы сглазили поводыря,
и скольких мы не зря в Донецке
убьём, и нас убьют – не зря.

Схоронят звёзды и медали
под деревянное пальто,
а ведь не зря Христа распяли,
ведь если б не распяли, что:

лежал бы на плацкартной полке,
хрустя отравленной мацой,
писал стихи и в чёрной «Волге»
разбился бы, как Виктор Цой*.

* Виктор Цой разбился на автомобиле «Москвич». На чёрной «Волге» ездили при совке иерархи православного духовенства. Цою – «Москвич», Христу – «Волга», кесарю – кесарево.

* * *

Почему нельзя признаться, в конце концов:
это мы внесли на своих плечах воров, подлецов,
это мы – романтики, дети живых отцов,
превратились в секту свидетелей мертвецов.

Кто пойдёт против нас – пусть уроет его земля,
у Венеры Милосской отсохла рука Кремля,
отчего нас так типает, что же нас так трясёт:
потому что вложили всё и просрали всё.

И не важно теперь, что мы обещали вам, –
правда липнет к деньгам, а истина лишь к словам,
эти руки – чисты и вот эти глаза – светлы,
это бог переплавил наши часы в котлы.

Кто пойдёт против нас – пожалеет сейчас, потом –
так ли важно, кто вспыхнет в донецкой степи крестом,
так ли важно, кто верит в благую месть:
меч наш насущный дай нам днесь.

Я вас прощаю, слепые глупцы, творцы
новой истории, ряженные скопцы,
тех, кто травил и сегодня травить привык
мой украинский русский родной язык.

* * *

Бог ещё не прикрыл этот грязный, гнилой бардак
и устроить всемирный потоп ещё не готов,
потому что люди исправно выгуливают собак,
потому что люди послушно прикармливают котов.

И пускай они убивают других людей и богов,
пишут жуткие книги, марают свои холсты,
не хватает крепкой руки и просоленных батогов:
человечество — это прислуга для красоты.

Мы живём для того, чтоб коровам крутить хвосты,
добывая роуминг, пестуя закрома,
подражаем птицам, рожаем в горах цветы,
красота такая, что можно сойти с ума.

Обхватив колени, сидишь на исходе дней,
и глаза твои, запотевшие от вина,
видят бледных всадников, всех четырёх коней,
а за ними — волны и новые племена.

* * *

Я в зеркало смотрю слегка поддавшим:
зрачки и губы цвета янтаря —
и чувствую себя неоправдавшим,
ну, типа пастернака говоря.

Родимые, а что же вы хотели,
когда в стране подстилок и рабов
вы речь мою держали в чёрном теле —
от крымских гор до выбитых зубов.

И мне не важно, что сейчас на ужин:
вареники, а может, снегири,
меж двух отчизн, которым я не нужен,
звезда моя, гори, гори, гори.

Когда глаза — ещё не признак зренья,
потрескивает тонкая броня,
но я прощаю это поколение,
которое так верило в меня.

Содержание

Исход москвичей

| | |
|---|----|
| Исход москвичей | 5 |
| «Протрубили розовые слоны...» | 6 |
| Вариации | 8 |
| Русский индеец | 9 |
| Ковры | 10 |
| Пришествие | 11 |
| «Жил да был человек настоящий...» | 12 |
| «Вроде бы и огромно сие пространство...» | 13 |
| «Патефон заведёшь – и не надо тебе...» | 14 |
| «Летний домик, бережно увить...» | 15 |
| «А когда пришёл черёд умирать коту...» | 16 |
| «Он пришёл в футболке с надписью...» | 17 |
| 2041 | 18 |
| «Я споткнулся о тело твоё...» | 19 |
| «Хьюстон, Хьюстон, на проводе – Джигурда...» | 20 |
| «Между крестиков и ноликов...» | 21 |
| Рождественское | 22 |
| «Отгремели русские глаголы...» | 23 |
| «Звенит карманная медь, поёт вода из трахей...» | 24 |
| «Бегут в Европу чёрные ходики...» | 25 |
| «За окном троллейбуса темно...» | 26 |
| «Аццкий афтар, вещий Баян, не много ль...» | 27 |
| Шишиа | 28 |
| «Чертополох обнимет ангелополоху...» | 30 |
| «Пушкин вырвал мой раздвоенный язык...» | 31 |
| «Повторов, ты в единственном числе...» | 32 |
| «А ведь раньше не было ничего...» | 33 |
| «Жизнь моя, если ты и вправду моя...» | 34 |
| «Ты обнимешь меня облепиховыми руками...» | 35 |
| Побег в Брюгге | 36 |
| «Вы господин Лимонов?..» | 38 |
| Отплывающим | 40 |

Чёрный вареник

| | |
|---|----|
| Чёрный вареник | 43 |
| «Говорят, что смерть боится щекотки...» | 44 |
| Бэтмэн Сагайдачный | 46 |
| «У первого украинского дракона были усы...» | 47 |
| Боевой гопак | 48 |
| «Наш президент распят на шоколадном кресте...» | 49 |
| «Война предпочитает гречку...» | 50 |
| Поминальная | 51 |
| Чистилище | 52 |
| Инструкция | 53 |
| «Солнцем снег занесло...» | 54 |
| Серая зона | 55 |
| «Пастырь наш, иже еси, и я — немножко еси...» | 56 |
| Выход из котла | 57 |
| «С молодых ногтей был увлечён игрой...» | 58 |
| Открытка | 59 |
| Кошер | 60 |
| «Был бы я полубогом, крышующим воду и глину...» | 61 |
| «Что-то худое на полном ходу...» | 62 |
| «Зима наступала на пятки земли...» | 63 |
| «Комиссары нюхали кокаин...» | 64 |
| Курение джа | 65 |
| «Крыша этого дома — пуленепробиваемая солома...» | 66 |
| Из цикла «Приборы бытия» | 67 |
| «Полусонной сгоревшею спичкой...» | 68 |
| «День гудел, не попадая в соты...» | 70 |
| Венецианский триптих | 71 |
| Аккордеон | 74 |
| «Непокорные космы дождя...» | 75 |
| «И однажды пленённому эллину...» | 76 |
| «Это пост в фейсбуке...» | 77 |
| «Как темнота от фонаря...» | 78 |
| «Почему нельзя признаться в конце концов...» | 79 |
| «Бог ещё не прикрыл этот грязный, гнилой бардак...» | 80 |
| «Я в зеркало смотрю слегка поддавшим...» | 81 |

Александр Кабанов. Русский индеец

возрастная категория 18+

редактор:

А. Переверзин

дизайн:

Антон Чёрный

корректор, технический редактор:

О. Тузова

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 22.03.2018

Формат издания 60x90/16. Усл. печ. л. 5,25

Тираж 500 экз.

ISBN 978-5-6040915-2-4



9 785604 091524

Александр Кабанов родился в 1968 году в городе Херсоне. Автор 11 книг стихотворений и многочисленных публикаций в периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и прочее. Лауреат премии журнала «Новый мир» (2005), Международной Волошинской премии (2009), «Русской премии» (2009), премии «Antologia» (2010) и других. Стихи переведены на украинский, английский, немецкий, французский, нидерландский, финский, сербский, польский, грузинский и другие языки. Главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма. Живёт в Киеве.

ISBN 978-5-6040915-2-4



9 785604 091524